

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

ОТМЕТКИ ПРИ ЧТЕНИИ
«ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОХВАЛЬНОГО СЛОВА
ЕКАТЕРИНЕ II»,
НАПИСАННОГО
КАРАМЗИНЫМ

Петр Андреевич Вяземский
Отметки при чтении
«Исторического похвального
слова Екатерине II»,
написанного Карамзиным

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24500960

Аннотация

«Не знаю, пришла ли кому-нибудь в России мысль прочесть пред 24-м числом ноября истекшего года «Историческое похвальное слово императрице Екатерине II», написанное Карамзиным тому без малого три четверти века. Но мне на чужбине запала эта мысль и в ум, и в сердце. Лишенный радости присутствовать на екатерининском и всенародном празднестве, которое в минувшем ноябре торжествовал Петербург при сочувствии всей России, я хотел по крайней мере поклониться Екатерине в частном и скромном памятнике, воздвигнутом ей литературным ваятелем, художником мысли и слова...»

Петр Вяземский
Отметки при чтении
«Исторического
похвального слова
Екатерине II»,
написанного Карамзиным

I

Не знаю, пришла ли кому-нибудь в России мысль прочесть пред 24-м числом ноября истекшего года «Историческое похвальное слово императрице Екатерине II», написанное Карамзиным тому без малого три четверти века. Но мне на чужбине запала эта мысль и в ум, и в сердце. Лишенный радости присутствовать на екатерининском и всенародном празднестве, которое в минувшем ноябре торжествовал Петербург при сочувствии всей России, я хотел по крайней мере поклониться Екатерине в частном и скромном памятнике, воздвигнутом ей литературным ваятелем, художником мысли и слова.

Похвальные слова вышли ныне, как и многое другое, из употребления, но было время, когда, особенно во Франции, были они живою и уважаемую отраслью литературы; теперь место их занимают биографии и монографии.

Впрочем, дело не в форме, не в покрое, не в оболочке. Формы видоизменяются более наружно, чем существенно: иногда старые формы вовсе разбиваются; но содержание, но истинно жизненное остается неприкосновенным, если при рождении своем восприняло оно отпечаток и залог жизни и обладает внутреннею ценностью. При этих условиях, несмотря на новые требования, на прихотливость своенравного и самовластительного вкуса, одним словом, несмотря на то, что можно бы назвать нравственною, духовною модою, совместницею моды материальной, всякое умственное произведение, будь то книга, картина и тому подобное, имеет свою внутреннюю жизнь: мысль, чувства, одушевляющие это произведение, переживают время свое и не утрачивают достоинства своего. Сапфир все тот же сапфир, хотя и в старинной оправе. Ценители внутреннего значения не жертвуют им из пристрастия к внешней отделке. Напротив, истинные художники, совестливые поклонники искусства, часто дорожат этим отпечатком старины. Не только приятно, но даже и нужно время от времени освежать свой вкус подобными отступлениями от воззрений и обычаев настоящего. Чувство пресыщается и окончательно притупляется, когда оно исключительно обращено на однообразие текущего

и на господствующие приемы и краски того или другого дня.

В отношении к литературе особенно полезно и отрадно возвращаться без пристрастия и без приговора заранее замышленного, к источникам, которые некогда утоляли и прохладжали нашу нравственную и умственную жажду.

Творение Карамзина, о котором идет речь, возбудило в нас желание сказать о нем несколько слов. Оно не просто образцовое произведение искусства; оно сверх того может удовлетворить трояким требованиям: в отношении историческом, гражданском и общежитейском. Во всех этих видах носит оно отпечаток и знаменье времени своего и вместе с тем верный и глубокий отпечаток личности самого автора.

II

Некоторые из предполагаемых преобразований и государственных попыток Екатерины, как, например, созвание депутатов со всей России, не вполне развились и осуществились; но и сами положенные, набросанные начала, хотя не дозрели до события, не менее того оставили следы по себе.

Они и ныне не стерлись с лица Русской земли. Сами собою были они уже благотворительны. Они внесли в общество новые понятия и новые стремления. Они, так сказать, перевоспитали общество, или по крайней мере значительную часть его. Слова: *либерализм, гуманность, прогресс* не имели тогда права гражданства ни в академическом словаре, ни в об-

щем устном употреблении, но значение их, истинное и действительное, но многозначительный смысл их распространили влияние свое в безыменном еще, но не менее того плодотворном могуществе. Громки и велики были дела Екатерины, твердо вошедшие в историю и в ней сохранившиеся в полном блеске своем, в несокрушимой силе совершившихся событий. Но много было еще сил, так сказать, неочевидных, неосязательных, которыми располагала Екатерина. Эти силы запечатлелись на обществе: после временного молчания, они сочувственно и ободрительно отозвались в первых годах царствования любимого ею внука, они отзываются и ныне.

Петр преобразовал, создал или подготовил новую политическую и государственную Россию. Но суровость нравов, но пробуждение умов, общая потребность в образованности худо повиновались богатырской и самовластной руке его. Нравы не смягчались. Благородные, нравственные и умственные побуждения и стремления мало и редко прорывались из общего застоя. Общество еще не нуждалось в свете дня, в свежести живительного воздуха. Екатерина внесла в Русское общество просветительные и животворные стихии, и внесла их не крутыми мерами, не насильствуя личной воли. Она, так сказать, не самодержавно просвещала общество; но чистым и женским искусством направляла она общее настроение, общее мнение. Нет сомнения, что в ней женщина много содействовала силе самодержца. В преданности воле ее много было рыцарства и воодушевления.

Она не только продолжала дело, начатое Петром, но облекла его большею законностью, округлила, смягчила пружины, которые приводили его в действие. Петр был природы суровой, многосносливой: он себя не берег, думал, что и других беречь не для чего. Он был сложения, железом окованного; к вещам и людям прикасался он железною рукою. Екатерина к тем и другим приложила женскую руку, почти не менее твердую, нежели рука Петра, равно искусную и жизненную, но, разумеется, более мягкую и ласковую. Она умела облечь силу самодержавия приемами сочувственными, не пугающими, не оскорбляющими нравственного достоинства, нравственной независимости каждого лица. Мы здесь выхваляем Екатерину не в ущерб Петру. Петр был деятель своего времени, деятель пылкий, нетерпеливый, как будто предчувствовавшее, что ему нужно спешить, нужно все перевернуть, чтобы успеть сделать всему, по крайней мере, почин: прорубить дремучий лес и поставить вехи для означения, где, как и куда должна быть направлена задуманная им дорога. Екатерина – деятель эпохи уже более подготовленной к восприятию новых понятий, новых порядков. Крутая ломка и переделка уже были совершены Петром. Он на свою личную ответственность и на ответственность памяти о себе пред потомством принял с самоотвержением всю неблагоприятную и часто прискорбную сторону действий, которые почитал он, ошибочно или нет, нужными и необходимыми. Дорога пред Екатериною была уже расчищена: с при-

родою бороться ей уже менее потребно было, да и Европа Петра не была еще Европою Екатерины.

Благие начала, введенные Екатериною в государственном и общественном устройстве, не могли не отозваться в литературе нашей. Карамзину предоставляется честь, что он из первых и с большим успехом проникнут был миротворительным влиянием нового дня, восшедшего над Россией. Под этим влиянием перенес он литературу на почву новую и всем более доступную. Карамзину вообще, как приверженцами, так равно и противниками, приписывается, что он преобразовал общеупотребительный язык, раскрыл в этом орудии мысли новые качества и способности: плод этих изысканий проявил он в первых произведениях своих. Но главное достоинство его не в материальном преобразовании речи нашей, как ни велика и эта заслуга: основное, зиждательное достоинство его выражается в том, что он навеял новый дух на литературу нашу, оживил ее новыми побуждениями и направлениями, нравственно согрел ее, приблизил ее к обществу и его сблизил с нею. Тут прямо выказываются влияния Екатерининского времени. За сближением общества с правительством и силою законодательною неминуемо, логически должно было следовать и общественное сближение с литературою, которая и должна быть выражением общества. До него литература была власть довольно суровая, мало общительная; она была сама по себе, общество само по себе. Ей поклонялись издали, уважали и чествовали ее суеверно,

но равнодушно. С ним литература сделалась живою частью общества, членом общей народной семьи. И прежде, даже и ныне, были и встречались люди, которые смеялись и смеются над так называемой *сентиментальностью* его. Во-первых, эта способность умиления, это сочувствие любви к явлениям природы, к человеку, эта, пожалуй, нервическая чуткость и чувствительность были в нем не привитые, незаимствованные: они были вполне самородные. Эти природные личные склонности и расположения могли иногда влечь за собою свои частные временные недостатки и уклончивости. Но вместе с тем были они чистым и обильным источником живой впечатлительности его, глубокой любви ко всему прекрасному и доброму, силы ощущений и увлекательной способности живо выражать ощущения и чувства свои и передавать их другим. К тому же эта *сентиментальность* была в нашей литературе не только позволительна, но совершенно уместна и своевременна. Она была сильным и радикальным противудействием литературы чрезмерно бесстрастной и несколько сухой и безжизненной. Мягкость, мягкосердечие, проявившееся в литературе нашей под пером Карамзина, были, без сомнения, плодом царствования Екатерины. «Письма русского путешественника» и многие другие произведения его, не исключая даже и «Бедной Лизы», носили отпечаток этого мягкого и благорастворенного времени. Влияние его еще сильнее и явственнее выражается в «Историческом похвальном слове». Оно зрелый и сочный плод,

снятый прямо с дерева. В полном сознании и с живейшим чувством Карамзин, приступая к изображению Екатерины, мог воскликнуть: «Благодарность и усердие есть моя слава. Я жил под ее скипетром, и я был счастлив ее правлением и буду говорить о ней!»

III

Похвальное слово разделено на три части. «Екатерина бессмертна своими победами, мудрыми законами и благодетельными учреждениями: взор наш следует за нею по сим трем поприщам», – говорит автор. В отметках наших будем держаться того же порядка.

В первой части изображаются в сжатой, но, можно сказать, полной картине, и ряд преобразований, введенных Екатериною в нашем войске, и ряд блистательных и плодоносных побед, одержанных войском, ею преобразованным и воодушевленным именем ее и любовью к ней. Следующими словами автор начинает главу свою:

«Сколь часто поэзия, красноречие и мнимая философия гремят против славолубия завоевателей! Сколь часто укоряют их бесчисленными жертвами сей грозной страсти! Но истинный философ различает, судит, и не всегда осуждает. Прелестная мечта всемирного согласия и братства, столь милая душам нежным, для чего ты была всегда мечтою? Правило народов и государей не правило частных людей: благо

сих последних требует, чтобы первые более всего думали о внешней безопасности: а безопасность есть могущество».

«Петр и Екатерина хотели приобретений, но единственно для пользы России, для ее могущества и внешней безопасности, без которой всякое внутреннее благо не надежно».

Все это так; но позволяем себе сделать здесь маленькую заметку и оговорку. Если допросить историю всеобщую и объемлющую все столетия, то увидим, что каждый народ, каждое правительств понимают по своему законность прав своих на необходимое обеспечение и застрахование себя от притязаний и покушений соседа, и соседа часто довольно отдаленного. Политический катехизис, обязательный для совести каждого, еще не определен и не вошел в законную силу; но что толковать тут о политике? она неповинна и здесь ни при чем. По неисповедимым судьбам, естественные условия всего созданного и живущего опираются на препирательстве и борьбе. Необходимость войны, вследствие той или другой причины, того или другого предлога, той или другой страсти, есть прискорбное таинство в жизни человечества. Люди с малолетства, еще детьми, дерутся между собою из зависти, жадности, любостяжания, чтобы выхватить из рук товарища игрушку или лакомство. А дикие звери, а домашние животные, не грызутся ли между собою по врожденному инстинкту? Кажется, тут политика ни в чем не замешена, а есть война.

В этом первом отделении, посвященном воинским подвигам, встречаются мастерские и одушевленные очерки. В самом рассказе отзываются живость движения и пламень боя. Особенно замечательно то, что сказано о Румянцеве. изображение его отличается особенною четкостью и воспроизводительностью кисти. Кажется, что из всех военных предводителей царствования Екатерины, Румянцев был ему наиболее сочувствен. Вот что говорит он о Задунайском:

«Сей великий муж славно отличил себя во время войны Прусской; взял Кольберг, удивлялся хитрости искусного Фридриха, но часто угадывал его тайные замыслы; сражался с ним и видел несколько раз побег его воинства».

«Если таланты изъясняются сравнением, то Задунайского можно назвать Тюреном России. Он был мудрый полководец; знал своих неприятелей, и систему войны образовал по их свойству; мало верил слепому случаю, и подчинял его вероятностям рассудка: казался отважным, но был только проныцателен, соединял решительность с таким и ясным действием ума; не знал ни страха, ни запальчивости, берег себя в сражениях единственно для победы; обожал славу, но мог бы снести и поражение, чтобы в самом несчастии доказать свое искусство и величие; обязанный гением натуре, прибавил к ее дарам и силу науки; чувствовал свою цену, но хвалил только других; отдавал справедливость подчиненным, но огорчился бы в глубине сердца, если бы кто-нибудь из них мог сравниться с ним талантами: судьба избавила его от сего

неудовольствия. – Так думают о Задуйнаском благородные ученики его».

Замечательно, что в сей военной главе вовсе не упоминает он о Потемкине, не смотря на притязания его на славу полководца и на военные почести, которыми был он возвышен. Такое умолчание едва ли не есть умышленное. Высокая, нравственная, целомудренная натура Карамзина не могла вполне ладить с этим баловнем счастья, хотя одаренным некоторыми свойствами и особенно вдохновениями государственного деятеля. Карамзин, вероятно, не прощал ему, что, при счастии своем, он нередко им употреблял во зло, что он, так сказать, барился, нежился и сатрапствовал в счастии и могуществе своем. Карамзин не прощал великолепному князю Тавриды, как прозвал его Державин, что он не всегда соблюдал нравственное достоинство, без которого истинного величия быть не может. С одной стороны будет блеск, сила, порабощение толпы; с другой – обаяние, уступчивое потворство; но прочной связи, трезвых, сознательных впечатлений не будет. На Русском языке есть прекрасное, глубоко-умное слово: временщик. Как дворы, так и общественное мнение, а к сожалению, иногда и сама история, имеют своих временщиков. Карамзин был не из тех, которые поклонялись бы им. Ему было совестно записать имя Потемкина рядом с именами более безукоризненными, более светлыми, с именами Румянцева, Суворова, Репнина, Петра Панина, Долгорукого-Крымского. В панегиристе отзывался уже строгий и нели-

цеприятный суд будущего историка. Впрочем, в другом месте автор уделяет несколько строк Потемкину. Он, как будто мимоходом, но верно и живо набрасывает очерк его. «Видели мы при Екатерине», говорит он, «возвышение человека, которого нравственное и патриотическое достоинство служит еще предметом споров России. Он был знатен и силен: следственно не многие могут судить о нем беспристрастно; зависть и неблагодарность суть два главные порока человеческого сердца. Но то неоспоримо, что Потемкин имел ум острый, проницательный; разумел великие намерения. Екатерины, и потому заслуживал ее доверенности. Еще неоспоримее то, что он не имел никакого решительного влияния на политику, внутреннее образование и законодательство России, которые были единственным творением ума Екатерины».

IV

Вторую часть творения своего автор начинает следующими словами:

«Екатерина-завоевательница стоит на ряду с первыми героями вселенной; мир удивлялся блестящим успехам ее оружия, но Россия обожает ее уставы, и воинская слава героини затмевается в ней славою образовательницы государства. Меч был первым властелином людей, но одни законы могли быть основанием их гражданского счастья; и, находя множе-

ство героев в истории, едва знаем несколько имен, напоминающих мудрость законодательную». В этой главе Карамзин, с меткостью присяжного законоведа и с теплым чувством гражданина, обзревает все труды Екатерины по часто законодательной, административной и всех многосложных отраслей государственного устройства. Ничто не забыто: многое анализировано с ясностью и знанием дела; на все достойное особенного внимания указано: на весь труд проливается свет добросовестной и положительной критики. С умением и порядком размещается на нескольких страницах полное и верное извлечение из государственных актов тридцатитрехлетнего царствования. В этом искусстве собирать материалы да приводить их в порядок уже угадывается завтрашний историк.

Между прочими богатствами, оставленными Екатериною в наследие России, особенное сочувствие и прилежание автора обращены на знаменитый Наказ ее.

Известно, что подвиг, предназначенный депутатам, собранным со всех концов обширной и, что ни говори, а все же, разноплеменной России, не достиг окончательной цели и был превращен в самом развитии своем.

«Ее Наказ долженствовал быть для депутатов ариадниною нитью в лабиринте государственного законодательства, но он, открывая им путь, означая все важнейшее на сем пути, содержит в своих мудрых правилах и душу главных уставов политических и гражданских, подобно как зерно заключает

в себе вид и плод растения».

Легко понимаем, что нынешний реализм, с пуританскою своею совестью, смущается баснословными воспоминаниями, которые выглядывают из этих слов, Ариаднина нить, лабиринт – все это ребяческие предания! но что же делать, если то, что ныне предание, еще вчера было достоянием общей Европейской литературы?

Далее автор продолжает:

«Уже депутаты Российские сообщали друг другу свои мысли о предметах общего уложения, и жезл маршала гремел в торжественных их собраниях. Екатерина невидимо внимала каждому слову, и Россия была в ожидании; но Турецкая война вспыхнула, и Монархиня обратила свое внимание на внешнюю безопасность государства».

«Сограждане! принесем жертву искренности и правде; скажем, что Великая не нашла, может быть, в умах той зрелости, тех различных сведений, которые нужны для законодательства».

«Да не оскорбится тем справедливая гордость народа Российского! Давно ли еще сияет для нас просвещение Европы? и мудрость Ликурговъ была ли когда-нибудь общею? Не всегда ли великое искусство государственного образования считалось небесным вдохновением, известным только некоторым избранным душам? Оставляя суеверные предания древности о нимфах Эгериях, можем согласиться, что Нумы всех веков имели нужду в чрезвычайных откровени-

ях гения. Сколько мудрости нужно законодателю! Сколь трудно знать человеческое сердце, предвидеть всевозможные действия страстей, обратить к добру их бурное стремление, или оставить твердыми оплотами, согласить частную пользу с общей; наконец, после высочайших умозрение, в которых духе человеческий, как древле Моисей на горе Синайской с невидимым Божеством сообщается, спуститься в обыкновенную сферу людей и тончайшую метафизику преобразить в устав гражданский, понятный для всякого!

„Но собрание депутатов было полезно: ибо мысли их открыли Монархине источник разных злоупотреблений в государстве. Прославив благую волю свою, почтив народ доверенностью, убедив его таком опытом в ее благотворных намерениях, она решилась сама быть законодательницею России“.

Карамзин не мог исследовать все труды комиссии, которые только на днях были обнародованы. Но мысль его, что собрание депутатов, хотя и не довершившее подвиг свой, было полезно, не подлежит сомнению. Пред нами развалины недостроенного здания, но самая попытка воздвигнуть подобное здание, есть уже само по себе историческое событие. Возвращаясь на родину и в дома свои, депутаты выдержали уже некоторое политическое воспитание. Благотельные, человеколюбивые и *законно-свободные* (как император Александр I перевел слово *libéral*) правила и понятия, пущенные в обращение, не могли не оставить несколько светлых

следов в уме многих из участвующих в этом деле. В провинции, в отдаленных местах России, занесены были семена, которые должны были, где более, где менее, но все же оплодотворить почву. Наказ есть более книга политической нравственности, чем книга практической политики. Но со всем тем и наказ сделал свое дело и совещания депутатов сделали свое.

Слова, падающие в народ с высоты престола, имеют не только отголосок в народе, но ложатся на него основой, если не настоящих, то в свое время сбывающихся последствий и явлений. Будь наказ написан частным публицистом, он не мог бы иметь то значение, ту важность, которыми он проникнут, когда воображаешь себе, что это плод мыслей, чувствований и желаний державного лица. Перевод на русский язык Мармонтелева „Велисария“, напечатанный частным переводчиком, хотя и талантливым, затерялся бы в библиотеке, вместе со многими другими книгами; но если вспомнить, что этот перевод обязан существованием своим перу Екатерины, в сообществе с некоторыми лицами, приближенными ко Двору ее, в самое то время, когда подлинник подвергался во Франции порицаниям Сорбонны и официальному осуждению, то этот перевод приемлет иное и высшее значение. Это в своем роде знамение времени, указание на политическую и общественную температуру современное эпохи. Жаль, что ни одному из наших ученых и литературных учреждений не пришла мысль изготовить к празднеству Екатерины новое

издание книги, тем более, что в настоящее время сделалась она библиографическою редкостью!

V

Считаем не излишним извлечь из второй главы, посвященной законодательной деятельности Государыни некоторые места, по мнению нашему, чем-нибудь особенно замечательные. Они могут послужить отчасти характеристике Екатерины и вместе с тем ее панегириста.

Он говорит: „Она уважала в подданном сан человека, нравственного существа, созданного для счастья в гражданской жизни. (Заметьте с какою осторожностью, не пускаясь в исторические умозрение, автор определяет свойство счастья, о котором он упоминает). Петр Великий хотел возвысить нас на степень просвещенных людей: Екатерина хотела обходиться с нами, как с людьми просвещенными“.

„Монархиня презирала и самые дерзкие суждения, когда оные происходили единственно от легкомыслия и не могли иметь вредных последствий для государства: ибо она знала, что личная безопасность есть первое для человека благо и что без нее жизнь наша, среди всех, этих способов счастья и наслаждения, есть вечное мучительное беспокойство“.

Упомянув о внутреннем преобразовании наших армий, которое есть, как он говорит, дело Екатерины, автор продолжает:

„Она произвела, что воины одного полна считали себя детьми одного семейства, гордились друг другом и стыдились друг за друга; она, требуя от одних непрекословного повиновения, другим предписала в закон: не только человеколюбие, но и самую приветливость, самую ласковую учтивость; изъявляя, можно сказать, нежное попечение о благосостоянии простого воина, хотела, чтобы он знал важность сана своего в империи, и, любя его, любил отечество“.

Монархия (в наказе) прежде всего определяет образ правления в России – самодержавный; не довольствуется единым всемогущим изречением, но доказывает необходимость сего правления для неизмеримой империи».

Разделяя это мнение, автор говорит: «Здесь примеры служат убедительнейшим доказательством. Рим, которого именем целый мир назывался, в едином самодержавии Августа, нашел успокоение после всех ужасных мятежей и бедствий своих. Что видели мы в наше время? Народ многочисленный на развалинах трона хотел повелевать сам собою: прекрасное здание общественного благоустройства разрушилось; неописанные несчастья были жребием Франции, и сей гордый народ, осыпав пеплом главу свою, проклиная десятилетнее заблуждение, для спасения политического бытия своего вручает самовластие честолюбивому Корсиканскому воину». Далее: «Мое сердце не менее других воспаляется добродетелью великих республиканцев; но сколько кратковременны блестящие эпохи ее? Сколь часто именем свободы поль-

зовалось тиранство и великодушных друзей ее заключало в узы»?

В искренности сказанных слов и признания автора сомневаться нельзя. Карамзин был в самом деле душою республиканец, а головою монархист. Первым был он по чувству своему, горячим преданиям юношества и духовной своей независимости; вторым сделался он вследствие изучения истории и с нею приобретенной опытности. Говоря нынешним языком, скажем: как человек он был либерал, как гражданин был он консерватор. Таковым он был и у себя дома и в кабинете Александра. Заметим мимоходом, что в этом кабинете нужно было иметь некоторую долю независимости и смелости, чтобы оставаться консерватором.

Екатерина говорит: «лучше повиноваться законам под единым властелином, нежели угождать многим». (Нельзя не обратить внимания на тонкий и глубокий смысл выражения: Екатерина не говорит: повиноваться законам единого властелина, а законам под единым властелином).

«Предмет самодержавия, говорит законодательница, есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы действия их направить к величайшему *благу*».

(*Благо* вероятно, означает здесь *благосостояние*, *bien-être*).

«Сие правление (самодержавное), говорит Карамзин, тем благотворнее, что оно соединяет выгоды Монарха с выгодами подданных: чем они довольнее и счастливее, тем власть

его святее и ему приятнее; оно всех других сообразнее с целью гражданских обществ, ибо всех более способствует тишине и безопасности».

Вот исповедание политической веры Карамзина. Коротко знавшие его убеждения говорят, что он не был ни политическим, ни религиозным лицемером, расчеты и какое бы то ни было корыстолюбие были ему чужды.

Далее автор прекрасно определяет Сенат. Он большой приверженец сего Петровского учреждения, и подлинно из всех тогдашних государственных учреждений оно легче и прочнее принялось на Русской почве. Следовательно оно удовлетворяло живым и насущными потребностям страны. Долго в России в отдаленных провинциях и в простом народе только и знали, что Государя и Сенат.

Карамзин, упоминая о власти, которую Екатерина предоставляет Сенату, разрешая ему входить с представлениями государю, если Сенат найдет в законах, присланных ему для исполнения что-нибудь вредное, темное, или противное уложению, заключает следующими словами:

«Таким образом Сенат в отношении к Монарху есть совесть его, а в отношениях к народу – рука Монарха; вообще он служит эгидою для государства, будучи главным блюстителем порядка». Кстати заметить здесь, что в другом месте, он как опытный законоведец и как будто человек измученный судебскими проволочками – он вероятно не имел в жизни ни одной тяжбы – метко указывает на одну из язв су-

допроизводства. Говоря об учреждении палат гражданской и уголовной, которые имеют права коллегий и судят в средоточии губерний, он прибавляет: «Все нужные объяснения могут быть доставляемы скоро, и медленность, первое зло по неправде, пресекается». И в знаменитой записке своей «О древней и новой России», позднее написанной Карамзиным, все с тем же рвением отстаивает Сенат. Вот что он говорит: «Фельдмаршал Миних замечал в нашем государственном чине некоторую пустоту между Троном и Сенатом, но едва ли справедливо. Подобно древней Боярской Думе, Сенат в начале своем имел всю власть, какую только высшее правительствующее место в самодержавии иметь может. Генерал-прокурор служил связью между им и государем: там вершились дела, которые бы надлежало вершить Монарху: по человечеству, не имея способа обнять их множества, он дал Сенату свое верховное право и свое око в генерал-прокуроре, определив в каких случаях действовать сему важному месту по известным законам и в каких требовать его Высочайшего соизволения, Сенат издавал законы, поверял дела коллегий, решал их сомнения, или испрашивал у Государя, который, принимая на него жалобы от людей частных, грозил строгою казнию ему в злоупотреблении власти, или дерзкому челобитчику в несправедливой жалобе».

Вообще, приведенные выписки из узаконений и правительственных мер Екатерины доказывают с каким искусством и сочувствием, с какою критическою разборчивостью

автор умел воспользоваться материалами, имеющимися у него под руками; в этом труде выказывается государственный ум и будущий историк, который в примечаниях своих, в написанной им истории, извлек и согласовал все сведения, все указания из летописей и других источников, им открытых.

Указывая на новое поприще государственной деятельности, открытое не служащему дворянству призывом его занимать должности по выбору, автор говорит. «Прежде дворянство наше гордилось какою-то, можно сказать, дикою независимостью в своих поместьях; теперь, избирая важные судебные власти и через то участвуя в правлении, оно гордится своими великими государственными правами, и благородные сердца их более нежели когда-нибудь любят свое отечество».

Здесь позволим себе высказать маленькое критическое замечание. Вместо того, чтобы сказать положительно *гордиться*, не вернее ли было бы сказать: *должно гордиться*.

Но, может быть, такой уклончивый оборот речи не ладил с требованиями и условиями похвального слова, хотя бы и исторического. Но как бы то ни было, не законы и не учреждения виноваты, когда общество не умеет вполне ими пользоваться. Много званых, мало избранных. Но были же избранные, которые при равнодушии других постигли важность даруемых им прав, добросовестно признавая, что права возлагают и обязанности. Далее: «Новое учреждение», го-

ворит автор, «пресекло многие злоупотребления господской власти над рабами, поручив их судьбу особенному вниманию наместника. Сии гнусные, но к утешению доброго сердца, малочисленные тираны, которые забывают, что быть господином, есть для истинного дворянина, быть отцом своих подданных, не могли уже тиранствовать во мраке; луч мудрого правительства осветил те дела; страхе был для них красноречивее совести, и судьба подвластных земледельцев смягчилась».

Многие обвиняют Карамзина в пристрастной приверженности к крепостному помещицкому праву. Мы сейчас видели, как сильно восстает он против злоупотреблений этого права, не обинуясь позорит он злых помещиков клеймом гнусного тиранства. Как человек, он, без сомнения, в душе своей за уничтожение крепостного состояния, которое влечет за собою ужасы, им упоминаемые; как политик, как публицист, он мог думать, что время для этого уничтожения еще не настало. Он не доктринер, готовый принести все в жертву единственно для торжества принципа. Он мог ошибаться по части политической экономии, мог опасаться губительных последствий, которые могли и не осуществиться. Это дело другое; публицист не обязан быть пророком; довольно и того, если правильно судит он о настоящем: взвешивает выгоды и невыгоды вопроса, суждению его подлежащего, и приходит к заключению по совести своей и по своему разумению. Чтобы о действиях человека и писателя (а писания его —

тоже действия) судить беспристрастно и правильно, нужно всегда принимать в соображение эпоху, ему современную, и, так сказать, внутреннюю среду умственного и нравственного положения его. Всякая картина, для прямого действия ее на зрителя, требует, чтобы выставлена была она в приличном и свойственном ей свете. Карамзин писал записку свою «О древней и новой России» в то самое время, когда над Европою, особенно над Россиею, висела шпага Дамоклеса, т. е. Наполеона, уже поразившая две трети Европы. Карамзину могло казаться неудобным крутыми преобразованиями и мерами делать в то время опыты над Россиею, т. е. ломать, уничтожать живые силы, которыми так или иначе держалась она, и создать наскоро новые, еще неизвестные силы, которые, во всяком случае, не успели бы перед подходящею грозою достаточно развиться и окрепнуть. С другой стороны, он уже посвятил несколько лет трудолюбивой жизни своей на воссоздание истории глубоко и пламенно любимого им отечества. Он шаг за шагом, столетие за столетием, событие за событием следил за возрастанием и беспрерывно мужающим могуществом государства. Не мог же он не прийти к тому заключению и убеждению, что, несмотря на частые, прискорбные и предосудительные явления, все же находились в этом развитии, в этом устоявшемся складе и порядке, многие зародыши силы и живучести. Без того не удержалась бы Россия. Он полюбил Россию, какую сложилась она и выросла. И это очень натурально. Вот вдохновение и основы консер-

ватизма его. Либералу, т. е. тому, что называют либералом, трудно быть хорошим историком. Либерал смотрит вперед и требует нового: он презирает минувшее. Историк должен возлюбить это минувшее, не суеверною, но родственною любовью. Анатомировать бытописание, как охладевший труп, из одной любви к анатомии, истории, есть труд неблагодарный и бесполезный.

В доказательство того, что Карамзин не был политическим старовером, приведем следующие строки из похвального слова: «Я означил только главные действия Екатерины, действия уже явные, но еще многие хранятся в урне будущего, или в начале своем менее приметны для наблюдателя. Оно, необходимо просвещая народы, окажется тем благодетельнее в следствиях, чем народ будет просвещеннее».

Следовательно, Карамзин не замыкал народ в известных и не перешагиваемых гранях: он ни граждан не закреплял к неизменному веку строю, ни земледельцев не закреплял вечно к земле. Он понимал, что тем и другим должно прорубить новые просеки, раскрывая новые горизонты, но под одним условием, а именно *Просвещения*. В этом слове заключается все.

VI

С такую же сметливую выборкою, как и в предыдущих главах, автор и в третьей части похвального слова обознача-

ет главнейшие действия Екатерины по части народной благотворительности и просвещения. Каждое учреждение не во многих словах, но верно изображено и выставлено в полном объеме своем. Замечания или пояснения по тому или другому предмету оценивают существенное достоинство и указывают на цель и пользу его. Упомянув о воспитательном или сиротском доме, автор говорит:

«Там несчастные младенцы, жертвы бедности или стыда, приемлются во святилище добродетели, спасаются от бури, которая сокрушила бы их на первом дыхании жизни; спасаются и, что еще более, спасают, может быть, родителей от адского злодеяния к несчастью не беспримерного».

«Там воспитание, приучая питомцев к трудолюбию и порядку, готовит в них отечеству полезных граждан. Искусные в художествах и ремеслах, которые делают человека независимым властелином жизни своей, сии питомцы монаршей щедрости выходят в свет, и последний дар ими из рук ее приемлемый есть – гражданская свобода». Здесь встречаем прекрасный портрет Бецкого, который «служил Екатерине первым орудием для исполнения ее благотворных, в великом деле, намерений. Бецкий жил и дышал добродетелью, не блестящею и не громкою, которая изумляет людей, но тихою и медленно-награждаемою общим уважением, да и *редкою*, ибо люди стремятся более к блестящему, нежели к основательному, и мужественною, ибо она не страшится никаких трудов. Он довольствовался славою быть помощником

Екатерины, радовался своими трудами и, будучи строгим наблюдателем порядка, беспрестанно взыскивая и требуя, сей друг человечества умел заслужить любовь и надзирателей и питомцев, ибо требовал только должного и справедливого. Герой, искусный министр, мудрый судья есть конечно украшение и честь государства; но благодетель юности не менее их достоин жить в памяти благодарных граждан».

Уже императрица Анна упредила кадетский корпус, но цветущая и многополезная пора его принадлежит царствованию Екатерины.

«Кадетский корпус, говорит автор, производил хороших офицеров и даже военачальников; ко славе его должно вспомнить, что Румянцев был в нем воспитан. Но сие учреждение клонилось уже к своему падению, когда Екатерина обратила на оное творческий взор свой – умножила число питомцев, надзирателей; предписала новые для них законы, сообразные с человеколюбием, достойные ее мудрости и времени. Военная строгость, которая доходила там нередко до самой крайности, обратилась в прилежное, но кроткое надзирание, и юные сердца, прежде ожесточаемые грозными наказаниями, исправлялись от легких пороков гласом убедительного наставления. Прежде Немецкий язык, математика и военное искусство были почти единственным предметом науки их: Екатерина прибавила как другие языки (особливо совершенное знание Российского), так и все необходимые для государственного просвещения науки, которые, смягчая

сердца, умножая понятия человека, нужны для благовоспитанного офицера: ибо мы живем уже не в те мрачные, варварские времена, когда от воина требовалось только искусство убивать людей, когда вид свирепый, голос грозный и дикая наружность считались некоторою принадлежностью сего состояния. Уже давно первые Европейские Державы славятся такими офицерами, которые служат единственно из благородного честолюбия, любят победу, а не кровопролитие; повелевают, но не тиранствуют; храбры в огне сражения и приятны в обществе; полезны отечеству шпагою, но могут быть ему полезны и умом своим. Таких хотела иметь Монархия, и корпус сделался их училищем».

На памяти нашей еще встречались в обществе бывшие кадеты, которые достигли до высших государственных степеней и были образованными и приятными людьми. Упомянем между прочими: Кушникова, члена государственного совета, Салтыкова (М. А.), сенатора и попечителя Казанского университета Полетику.

Вопрос о *народных училищах*, который теперь на очереди во многих государствах, у нас был уже угадан и, по возможности, разрабатываем предусмотрительным и просвещенно-любивым умом Екатерины. Карамзин также в похвальном слове обращает на него особенное и сочувственное внимание. Но сей вопрос, по-видимому, не из тех, которые легко поддаются соображениям и предначертаниям власти и требованиям принципов и умозрительности. Вопрос сей, если и

подвинулся со времен Екатерины, то все же медленно и находится все еще разве на полудороге. Общее народное обучение и поголовная грамотность, как о них многие ни заботятся, остаются пока в разряде *благочестивых желаний* и будущих благ. У нас, кроме политических и духовных затруднений, присущих этому вопросу, не должно забывать и о затруднениях материальных, топографических и климатических. Пространство нашей Русское земли, скудость во многих областях народонаселения разбросанного, рассеянного на этих необозримых пространствах, сильные морозы, губительные метели, а иметь в каждом селении училище и учителя дело несбыточное. Ходить ребенку на урок одному, худо одетому, за три, пять, а часто и более верст, при 15 градусах мороза, а часто и более, при снежных вьюгах, при краткости нашего зимнего дня, при продолжительности нашей зимы, за которую следует продолжительная распутица, все это равномерно противодействует практике.

Как бы то ни было, слова Карамзина еще не устарели, пережитые действительностью. Пора действительности еще не настала; читая его, можно думать, что читаешь страницу из вчера вышедшей книжки русского журнала.

Вот что автор говорит в первый год текущего столетия:

«Екатерина учредила везде в малейших городах и в глубине Сибири народные училища, чтобы разлить, так сказать, богатство света по всему государству. Особенная комиссия, из знающих людей составленная, должна была устроить их,

предписать способы учения, издавать полезнейшие для них книги, содержащие в себе главные, нужнейшие человеку сведения, которые возбуждают охоту к дальнейшим успехам, служат ему ступеню к высшим знаниям, и сами собою уже достаточны для гражданской жизни народа, выходящего из мрака невежества. Сии школы, образуя учеников, могут образовать и самых учителей, и таким образом быть всегдашним и время от времени яснейшим источником просвещения. Они могут и должны быть полезнее всех академий в мире, действуя на первые элементы народа; и смиренные учитель, который детям бедности и трудолюбия изъясняет буквы, арифметические числа и рассказывает в простых словах любопытные случаи историк, или развертывая нравственный катехизис, доказывает сколь нужно и выгодно человеку быть добрым, в глазах философа почтен не менее метафизика, которого глубокомыслие и тонкоумие для самих ученых едва вразумительно, или мудрого натуралиста, физиолога, астронома, занимающих своею наукою только часть людей».

Могла ли в похвальном слове быть забыта литература с ее «сильным влиянием на образование народа и счастье жизни»? Екатерина не только покровительствовала ей, поощряла ее царским вниманием и щедротами, но и сама была литератор. Она находила время на все: и эту силу на всестороннюю деятельность почерпала она, по мнению панегириста, *в духе порядка, который благодетелен для всякого и в добром монархе – счастье народа.*

Замечательны следующие слова:

«Если она (Екатерина) своими ободрениями не произвела еще более талантов, виною тому независимость гения, который один не повинуется даже и Монархам, дик в своем величии, упрям в своих стремлениях, и часто самые неблагоприятные для себя времена предпочитает блестящему веку, когда мудрые цари с любовью призывают его для торжества и славы».

В числе многих благодетельных мер, принятых в царствование Екатерины, для водворения в обществе нашем образованности и просвещения, автор упоминает о следующей, которая, без сомнения, не могла оказаться бесплодною: «желая присвоить России лучшие творения древней и новой чужестранной литературы, она учредила комиссию для переводов, определила награду для трудящихся – и вскоре почти все славнейшие в мире авторы вышли на нашем языке, обогатили его новыми выражениями, оборотами, а ум Россиян – новыми понятиями».

Жаль, что эта комиссия, или что-нибудь подобное, уже не существует. Нам переводы нужны. Система туземных протекционистов в литературе никуда не годится: привозная литература везде полезна, а у нас и подавно. Но, не стесняя частных и вольнопрактикующих переводчиков в свободе переводить все, что им под руку попадет, или придется по вкусу, хорошо бы иметь у нас учреждение, например под надзором академии, которое следило бы за всеобщим лите-

ратурным движением и заботилось о выборе для перевода на Русский язык книг полезных как в отношении к науке, так и нравственности и политическому воспитанию народа. Не достаточно пещись о распространении грамотности и возбуждении духовных позывов к ней: нужно еще пещись и о приготовлении здоровой пищи для грамотных. Вредная, испорченная пища не лучше голода.

VII

Изданные и вновь издаваемые в наше время биографические материалы с каждым днем более и короче знакомят нас с Екатериною. Пред нами растет величие Екатерины, но вместе с тем проникаем мы в свойства личности ее частной и домашней. Мы доселе жили исторической жизнью ее: ныне живем жизнью ее ежедневной. Доселе могли мы говорить с Державиным: «Екатерина в низкой доле и не на царском бы престоле была б великою женой». Ныне можем сказать, с достоверностью и убеждением, что при этом была она умнейшею и любезнейшею женщиною. Привлекательность и прелесть ума и нрава ее были также род всемогущества – всемогущество обаяния.

Жаль, что эти посмертные сведения не могли быть известны нашему панегиристу. Они обогатили бы похвальное слово многими занимательными и блестящими страницами. Он, разумеется, с похвалою и горячим сочувствием отзывается

о переписке Екатерины с современными ей Европейскими знаменитостями, и в этой переписке «Европа удивляется не им, а ей.» Но эта переписка все же носит почти официальный характер. Эти письма подготовлены, обработаны в виду Европейского суда и суда потомства. Писавшая их могла предвидеть, что тайна писем не будет соблюдена. Но мы теперь застаем Екатерину, так связать, врасплох. От внимания нашего и розыска не ускользает ни малейшая строка, наскоро брошенная беглым карандашом. Мы, так связать, разбираем ее по косточке. Мы анатомируем ее, и что же? Часто посмертные исследования, загробные нескромности нарушают добрую память сошедшего с лица земли в полном блеске величия и безукоризненной славы; с Екатериною сбывается совершенно иное. История внесла уже на скрижали свои громкие и великие дела ее: строгою, а часто и пристрастною рукою занесла она и несовершенства, и погрешности ее, собственные всем смертным на земле. Но отныне правдивая история обогатится новыми сведениями, которые прольют неведомый блеск на личность ее и выкупят многие упреки, которыми отяготили память ее от этой загробной ревизии цель ее и помышлений. Государыня нисколько не умаляется: напротив; но частная личность, но человек, но женщина возвышается и обрисовывается в самом пленительном образе. Недаром Екатерина отвязывалась при жизни от статуй и похвальных титулов. Она умела ждать и веровала в потомство – потомство оправдало веру ее.

IX

Говорить ли о языке и слоге похвального слова? Казалось бы, это было бы и лишним. А впрочем, в наше время именно может быть и не совершенно неуместным сказать о том несколько слов. Правильность, ясность, свободное, но вместе с тем последовательное и, так сказать, *образумленное* течение речи, искусство ставить каждое слово именно там, где ему быть надлежит и где оно выразительнее, – все это является здесь в изящном порядке и полной силе. Трезвость слога не влечет за собой сухости. Некоторые ораторские приемы, свойственные вообще похвальному слову, не заносятся до высокопарности. Все живо, но мерно, все одушевлено ясною мыслью и теплым чувством. Мы уже намекали, что будущий историк угадывается в некоторых местах разбираемого нами произведения. Ныне, прочитав все похвальное слово, скажем, что оно в полном объеме есть, так сказать, проба пера, которое автор готов исключительно посвятить истории. Слог, то есть то, что прежде называли слогом, есть ныне слово и понятие, утратившее значение свое. Одни литературные старообрядцы обращают внимание на него. В наш скороспешный и скороспелый век, в век железных дорог, паровых сил, телеграфов, фотографий, мало заботятся об сделке. Все торопит и все торопятся – это хорошо! Жизнь коротка: почему же не удешевить ценность и значение времени,

если есть на то возможность? Но искусство терпит от той усиленной гонки за добычею: искусство нуждается в труде, труд требует усидчивости, а мы и трудиться и сидеть разучились. Редко кто наложит на себя обузу и епитимью просидеть несколько дней и по несколько часов сряду, хотя бы перед фан-Дейком или Брюлловым, чтобы иметь портрет свой во весь рост. Мы все бежим по соседству к ближайшему фотографу, который дело свое покончит в пять минут.

Посмотрите на черновые листы Карамзина и Пушкина: они, казалось бы, писали легко и от избытка вдохновения и сил, а между тем тетради перечеркнуты, перемараны вдоль и поперек. Тот и другой перепробует иногда три-четыре слова, прежде нежели попадет на слово настоящее, которое выразит вполне мысль, со всеми ее оттенками. – Да это египетская работа! – скажут мне. Так; но египетские работы воздвигали пирамиды, переживающие тысячелетия. Правила, искусство, вкус зодчества изменились с течением времени; но любознательность и просвещенные путешественники со всех концов мира съезжаются к этим пирамидам изучать их и любоваться ими. Слог есть оправа мысли и души, он придает ей форму, блеск и жизнь. Недаром сказано, что в слоге выдается весь человек: каков человек, таков и слог его. В прозе Жуковский и Пушкин принадлежали школе Карамзина; но слог Жуковского не есть слог Карамзина, а слог Пушкина не есть слог Жуковского. Слог дает разнообразие и разнохарактерность таланту и выражению. Слогом живет лите-

ратура. Где или когда нет слога, нет и литературы.

Если есть музыка будущего, то можно сказать о языке Карамзина, что это музыка минувшего. Между тем этот язык не устарел, как не устарела музыка Моцарта. Могли оказаться изменения, то к лучшему, то к худшему; но диапазон все-таки остается верным и образцовым. При начале литературного поприща Карамзина обвиняли его в галлицизмах. Мы давно где-то сказали, что критики его ошибались. Галлицизмы его были необходимые европеизмы. Никакой язык, никакая литература совершенно избежать их не могут. Есть денежные знаки, которые везде пользуются свободным обращением: червонец везде червонец. Так бывает и с иными словами и оборотами. Есть лингвистические завоевания, которые нужны, а потому и законны. Но есть лингвистические переяржения, пестрые заплатки, которые вшиваются в народное платье. Эти смешны и только портят основную ткань.

Чтобы показать то, что мы разумеем под слогом и под искусством писать, выберем из многих мест одно, например, следующее:

«Геройская ревность к добру соединялась в Екатерине с редким проницанием, которое представляло ей всякое дело, всякое начинание в самых дальнейших следствиях, и потому ее воля и решение были всегда непоколебимы. Она знала Россию, как только одни чрезвычайные умы могут знать государство и народы; знала даже меру своим благодеяниям; ибо самое добро в философическом смысле может быть

вредно в политике, как скоро оно несоразмерно с гражданским состоянием народа. Истина печальная, но опытом доказанная! Так, самое пламенное желание осчастливить народ может родить бедствия, если оно не следует правилам осторожного благоразумия сограждан! Я напомним вам монарха, ревностного к общему благу, деятельного, неутомимого, который пылал страстию человеколюбия, хотел уничтожить вдруг все злоупотребления, сделать вдруг все добро, но который ни в чем не имел успеха и при конце жизни своей видел с горестью, что он государство свое не приблизил к цели политического совершенства, а удалил от нее: ибо преемнику для восстановления порядка надлежало все новости его уничтожить. Вы уже мысленно наименовали Иосифа – сего несчастного государя, достойного, по его благим намерениям, лучшей доли! Он служит тению, от которой мудрость Екатерины тем лучезарнее сияет. Он был несчастлив во всех предприятиях – она во всем счастлива; он с каждым шагом вперед отступал назад – она непрерывными шагами шла к своему великому предмету, писала уставы на мраморе неизгладимыми буквами, творила вовремя и потому для вечности и потому никогда дел своих не переделывала».

Здесь нельзя ни единого слова ни прибавить, ни убавить, ни переставить; но и еще пример:

«Европа удивлялась счастью Екатерины. Европа справедлива, ибо мудрость есть редкое счастье; но кто думает, что темный, неизъяснимый случай решит судьбу государств, а не

разумная или безрассудная система правления, тот по крайней мере не должен писать истории народов. Нет, нет! феномен монархии, которой все войны были завоеваниями и все уставы счастьем империи, изъясняется только соединением великих свойств ума и души».

Все это так просто и ясно сказано, что читатель, не посвященный в таинства искусства, может подумать, что и каждый сумел бы так изъясниться; но дело в том, что кроме здоровой мысли здесь есть еще и здоровое выражение, плод многих и обдуманых изучений языка и свойства его.

При всей изящности языка и самого изложения должны, разумеется, встретиться в похвальном слове прикрасы чеканки, некоторые, так сказать, литературные чинквеченто, ныне для нас странные и обветшалые.

Например: «Чтобы утвердить славу мужественного, смелого, грозного Петра, должна через сорок лет после его царствовать Екатерина; чтобы предуготовить славу кроткой, человеколюбивой, просвещенной Екатерины, долженствовал царствовать Петр; так сильные порывы благодетельного ветра волнуют весеннюю атмосферу, чтобы рассеять хладные остатки зимних паров и приготовить натуру к теплomu влиянию зефиров!»

Мы теперь готовы отрешиваться от этого *зефира*, от этого языческого наваждения. Но в то время *зефиры* со всей братьею, со всеми сестрами своими были добрыми домовыми литературы; и писатели, и читатели дружелюбно ужива-

лись с ними. Укорять Карамзина, что и он знался с ними и говорил, например, в другом месте: «Земледельцы, сельскою добродетелию от кнута на ступени *Фемидина храма* возведенные» и проч.; укорять его в сих баснословных приемах то же, что сказать: Карамзин, говорят, был пригож в своей молодости, но жаль, что он имел несчастную привычку пудрить волоса свои. А между тем все пудрились.

Впрочем, что же тут особенно худого в этих древних преданиях, имеющих иногда глубокий смысл и всегда много поэзии? Греческое баснословие положено в основу Европейского просвещения. Следовательно, слишком пренебрегать им не подобает. Величайшие умы, неподражаемые художники, красноречивейшие святые отцы более или менее воспитаны были и образовались в этой языческой школе.

Каждый век, почти каждое поколение имеют свою критику, свое литературное законодательство. Ныне, если дело пойдет на сравнение, мы почерпаем его в науках точных, в медицине, в реальном производстве, в механике, в фабричной промышленности. Все *идеальное* забраковано, заклеено печатью отвержения. Но неужели думать нам, что и мы, по выражению Карамзина, *творим во время, а потому для вечности?* Едва ли. Как мы многое отвергли из того, что перешло к нам от дедов, так и 20-й век, который уже не за горами, вероятно, отвергнет многое, чем мы ныне так щеголяем и гордимся. Нынешние, страстные нововводители будут в глазах внуков наших запоздалые старообрядцы. Как знать?

Может быть, внуки наши, если помянут старину, то перескочат через наше поколение и возобновят прерванную связь с поколениями, которые нам предшествовали.

Мы не говорим здесь исключительно о Русской литературе, но вообще о литературе Европейской.

Заметим мимоходом, что в похвальном слове ни разу не встречается слово сословие, хотя, разумеется, не раз упоминается о том, что оно ныне выражает. Карамзин везде говорит: или государственные чины, или среднее политическое состояние, мещанское состояние, три государственные состояния и так далее. В самом конце нет этого слова. Там, например, отделение VII озаглавлено: о среднем роде людей. Род, конечно, не хорошо, но все же лучше, нежели сословие. Любопытно было бы исследовать, с которого времени и с чьей тяжелой руки пущено в обращение и водворилось в нашу речь это безобразное, неуклюжее и в противность этимологии и логике составленное слово?

X

До сих пор говорили мы о Екатерине словами Карамзина, примешивая к ним иногда и свои. Ныне заключим и, можно сказать, увенчаем статью собственными словами и мнением Императрицы о Наказе своем, важнейшем из письменных трудов ее, и который, вероятно, она наиболее любила и уважала. Фридрих Великий изъявил желание ознакомиться

с ним. Екатерина послала ему перевод Наказа на немецком языке при письме своем. Письмо это, кажется, доньше не было напечатано. Извлекаем из него все то, что прямо относится до Наказа и до воззрение автора на свой труд. Не должно забывать притом, что приличие и условие авторской скромности побуждали ее не придавать большой и особенной важности произведению своему. Вот что, между прочим, писала Екатерина Фридриху II из Москвы 17 октября 1767 года: «Согласно с желанием Вашего Величества приказала я сегодня передать вашему министру графу Сольмсу Немецкий перевод Наказа (*de l'instruction*), который дала я, для преобразования (*réformation*) законов в России. Ваше Величество не найдет в нем ничего нового, ничего такого, что было бы Вам неизвестно. Вы увидите, что я поступала, как ворон в басне, который сделал платье себе из павлиньих перьев. Мое тут одно расположение содержания (*l'arrangement des matiures*) и кое-где строка, слово; если бы собрать все, что я от себя к сему приложила, то думаю, не окажется тут более двух или трех листов. Большая часть извлечена из духа законов президента Монтескье и из трактата о преступлениях и наказаниях маркиза Беккария. Я должна предварить Ваше Величество о двух вещах: одна, что Вы найдете несколько мест, которые, может быть, покажутся Вам странными. Прошу Вас не забывать, что я часто должна была принаравливаться (*m'accomoder*) к настоящему, а между тем не заграждать дороги к будущему, более благоприятному. Дру-

гая вещь та, что Русский язык гораздо более Немецкого силен и богаче в выражениях и более Французского богат в свободной переноске слов».

«Мне было бы очень чувствительным знаком дружбы Вашего Величества, если бы согласились сообщить мне мнения свои о недостатках и погрешностях (*les défauts*) этого произведения. Ваши мнения не могли бы не просветить меня на пути столь для меня новом и трудном, и моя послушность (*docilité*) для исправления показала бы Вашему Величеству неограниченную цену (*le cas infini*), которую придаю и дружбе вашей, и вашим сведениям, и просвещению (*lumière*)».